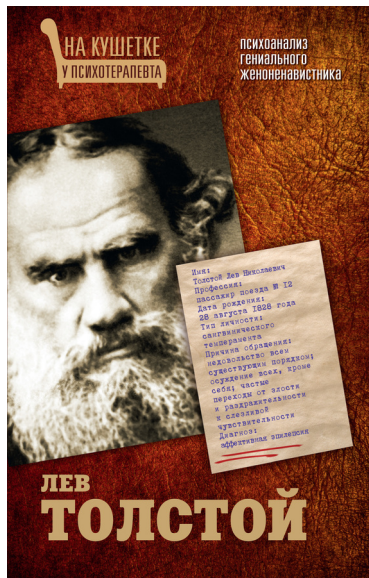




Мария Баганова
Лев Толстой. Психоанализ
гениального женоненавистника
Серия «На кушетке у психотерапевта»

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7952971

Мария Баганова Лев Толстой. Психоанализ гениального женоненавистника: АСТ; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-085242-0

Аннотация

Когда промозглым вечером 31 октября 1910 года старшего врача железнодорожной амбулатории на станции Астапово срочно вызвали к пациенту, он и не подозревал, чем обернется эта встреча. В доме начальника станции умирал великий русский писатель, философ и одновременно – отлученный от церкви еретик, Лев Николаевич Толстой. Именно станционному доктору, недоучившемуся психиатру предстояло стать «исповедником» гения, разобраться в противоречиях его жизни, творчества и внутрисемейных отношений, а также вынести свое медицинское суждение, поставив диагноз: аффект-эпилепсия. Ужасные, шокирующие факты узнавал скромный провинциальный врач, задаваясь непривычными для себя вопросами. Зачем великий писатель ездил смотреть на вскрытие мертвого тела знакомой ему женщины? Почему на чердаке дома его ближайшего родственника были найдены скелеты новорожденных? За что родной сын называл писателя дрянью и отказывался с ним общаться? Почему супруга писателя так ревновала мужа к его секретарю и издателю? Зачем этот издатель не допустил к умирающему Толстому духовника, не дав ему примириться церковью?

Повествование выстроено на основе подлинных дошедших до нас документов, писем и дневников писателя и его родных.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Мария Баганова

Лев Толстой. Психоанализ

гениального женоненавистника

«Открой людям истину, как Евангелие, которая должна спасти их и избавить от зла – и, кроме неприятности, ничего не будет открывателю. Напиши пьесу, еще лучше похабный роман – и тебя засыпят цветами, похвалой, деньгами».

Л.Н. Толстой

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Пролог

«Господи, умиротвори Россию ради церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хулителя Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих последователей...» — об этом всего лишь два года назад молил Иоанн Кронштадтский, и его слова публиковала газеты. Теперь, судя по всему, его молитва сбывалась. Тот, чьи произведения составили славу России, но чьи крамольные мысли возмутили власть предержащих, отлученный от церкви великий писатель и философ умирал в квартире Ивана Ивановича Озолина – начальника нашей станции. Несколько врачей сделали все для поддержания его жизни, но эти усилия оказались тщетны. Теперь, на исходе этой тяжелой недели, мы все понимали это.

Глава 1

31 октября

После довольно бурно проведенной молодости – учебы в Императорском Университете, участия в студенческих собраниях и даже в антиправительственных волнениях, я разочаровался во всем, что напрямую не касалось моей специальности, уехал в провинцию и устроился на должность старшего врача железнодорожной амбулатории на станции Астапово. Это узловая станция на пересечении железнодорожных линий, идущих из Ельца в Троекурово и из Смоленска в Раненбург. Там я зажил спокойно, не хватая звезд с небес, но получая удовлетворение от сознания того, что приношу пользу. И так продолжалось довольно долго, вплоть до промозглой осени 1910 года.

Вечером 31 октября меня срочно вызвали к необычному больному. Уже совсем стемнело, день выдался холодным, дул резкий ветер. В такую погоду и в это время суток требовалась важная причина, чтобы лишний раз вытащить меня из дома; мой хороший знакомый Иван Иванович Озолин понимал это, поэтому не стал бы посылать за мной без веского повода. Присланная им со старшим сыном записка была короткой, но ее тон ясно говорил, что медлить нельзя. Я тут же оделся и отправился в его дом. Там меня ждал пациент – один из величайших писателей и философов современности, гений слова и мысли.

Оказался он совсем не таким, как я представлял по виденному мною портрету на передвижной выставке. Этот портрет провисел там недолго: студенты увенчали его гирляндами цветов (в числе которых были и принесенные мною), и власти, признав портрет «соблазнительным», распорядились его убрать. Лев Толстой представлялся мне мощным величественным стариком, почти богатырем – и я не сразу узнал его в щуплом, костлявом седом человечке с нелепо торчащей бородой. Он лежал на пружинной кровати в самой просторной комнате в доме Озолина. В головах кровати за ширмой разместили туалетные принадлежности.

У кровати стоял принесенный откуда-то ночной столик со свечой, дававшей достаточно света, чтобы делать записи, и стул. На столике лежали две тетради, одна большая и пухлая, другая – поменьше. На другом столике разложили секретарские принадлежности. Лекарства и принадлежности для клистиров и компресса были сложены в шкаф. Я обратил внимание на два лежавших на полу открытых чемодана, один из которых был заполнен носильными вещами, а другой – какими-то толстыми тетрадями.

– Это дневники Льва Николаевича, – объяснили мне, – и его многочисленные статьи, приготовленные для публикации.

С больным была его дочь Александра Львовна и еще сухонький бледный лысоватый человечек, говоривший с южным акцентом. Он представился как Душан Петрович Маковицкий – личный врач Толстого. Говорил он немного и всегда очень вежливо. Было видно, что он старался окружить пациента всяческой заботой, хотя и был крайне растерян. Он вкратце обрисовал ситуацию:

– Лев Николаевич непременно желал ехать в вагоне третьего класса, с простым народом, – объяснил он, – но вагон оказался переполненным и прокуренным. Пассажиры из-за тесноты даже перебирались в товарные вагоны-теплушки. Я поспешил к начальнику вокзала с требованием прицепить дополнительный вагон, но тот отправил меня к другому чиновнику, второй чиновник указал на дежурного... А дежурный в это время был в вагоне, глазел на Толстого, которого пассажиры уже узнали. В конце концов мне ответили, что лишнего вагона нет, – досадовал он. – Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне когда-либо приходилось ездить по России. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора,

багаж тоже не помещается. Духота... Вскоре Лев Николаевич стал задыхаться от духоты и дыма, потому что половина пассажиров курили. Надев меховые пальто и шапку, глубокие зимние калоши, он вышел на заднюю площадку. Но и там стояли курильщики. Тогда он перешел на переднюю площадку, где дул встречный ветер, но зато никто не курил, а стояли только баба с ребенком и какой-то крестьянин...

– Долго он там пробыл? – уточнил я.

– Три четверти часа. Роковые три четверти часа... – сокрушался доктор Маковицкий.

Три четверти часа на ветру – этого было вполне достаточно, чтобы старик простудился.

– Было крайне неосторожно позволять ему так долго находиться на холоде, – заметил я.

Бледные щеки Маковицкого порозовели, казалось, он готов наговорить мне колкостей... но тут слово взяла дочь больного. Александра Львовна была статной, немного полноватой девушкой, крепкой и широкой в плечах. Ее округлое лицо с довольно правильными привлекательными чертами носило явные следы сильного утомления, но несмотря на это она ни на что не жаловалась и старалась помочь, чем может.

– Да, Душан Петрович все правильно изложил: заболел папа еще в поезде, еще до Данкова, – принялась рассказывать она. – Жар все усиливался и усиливался, заварили чай и дали ему выпить с красным вином, но и это не помогло, озноб продолжался. Мы растерялись...

Она склонила голову и содрогнулась всем телом.

– Но у вас в Астапово наш незаменимый Душан Петрович сумел разыскать начальника станции, и он так любезно дал нам комнату в своей квартире и даже согласился послать за вами, чтобы Вы могли в случае нужды помочь Душану Петровичу.

Помочь? Старик восьмидесяти двух лет, холодный сырой ноябрь, сильная простуда – все это складывалось в не слишком обнадеживающую картину. Будь передо мной простой обыватель, я бы обеспечил ему надлежащий уход и посоветовал бы родственникам уповать на Бога... Но что делать в данном случае, я не знал: ведь моим пациентом стал один из известнейших людей России, и причем известность эта в немалой степени была скандальной.

Я оборотился к пациенту. Графа сильно знобило... Он то извинялся, что «наделал хлопот», то забывал, что находится не дома, и требовал, чтобы все было приготовлено «как всегда», удивляясь, что вещи стоят не на своих местах. Видно было, что он крайне истомлен и, прежде всего, нуждается в отдыхе. Временами у него начиналось обморочное состояние. Александра Львовна сообщила, что такое бывало и прежде. По ее словам, в такие минуты ее отец теряет память, заговаривается, произносятся какие-то непонятные слова. Я обратил внимание, что левая рука его и левая нога временами судорожно подергиваются. То же самое появлялось временами и в левой половине лица.

– Что уже предпринимали?

– Дали Льву Николаевичу крепкого вина, ставили клизму, – объяснил доктор Маковицкий.

Щеки Александры Львовны запылали, она закрыла лицо руками и что-то прошептала. «Мне так стыдно, я помогала...» – разобрал я.

– Больной был в сознании? – обратился я к Маковицкому.

– По-моему, да. Но он ничего не говорил, только стонал, лицо было бледно, и вот эти судороги, хотя и слабые...

– Судороги? Нечто вроде припадков? – уточнил я.

Александра Львовна кивнула.

– Да, именно так. Судорожные припадки, головокружения, обмороки случаются у Льва Николаевича, – снова вступил в разговор Душан Петрович. – Как мне рассказывали, бывало в детстве и вот теперь, последнее время – часто.

– Подробнее расскажите! Это важно, – потребовал я, делая пометки в записной книжке.

– Менее чем за месяц до ухода папа едва не умер. Это случилось после того, как... мы с мамой... поссорились. – Александра Львовна потупилась. – Папа был расстроен, ушел гулять надолго... замерз. Потом вернулся, лег отдыхать, уснул... Потом началось, но меня там не было.

– А какое было предпринято лечение во время припадка? – обратился я к Маковицкому.

– Ему поставили горчичники на икры, уложили вокруг ног бутылки с горячей водой, поставили клистир... На голову – компресс...

– И каково же Ваше, коллега, объяснение? В чем причина припадка? – поинтересовался я.

– Я полагаю, что причина – в отравлении мозга желудочным соком, – ответил он. – Хотя приезжий доктор утверждал иное. Он считал, что судороги могли быть обусловлены нервным состоянием Льва Николаевича и наличием у него артериосклероза.

Я засомневался в обоих диагнозах.

– С тех пор все было спокойно? – уточнил я.

– Более-менее...

– Настолько все спокойно, что вы решили отправиться в путешествие.

– Да, – коротко подтвердил доктор Маковицкий.

Я проверил пульс и померил температуру больному, выслушал его дыхание. Результаты осмотра еще больше убедили меня в том, что положение крайне серьезно. Я обнаружил в нижних долях легких сзади обильные сухие и влажные хрипы и заподозрил воспаление легких. При этой болезни в первую очередь больному необходим покой и отдых, о чем я и объявил. При обеспечении соответствующего комфорта к утру ему должно было стать немного легче.

– Папа просил не сообщать в газету про его болезнь, – заговорила Александра Львовна, – и вообще никому ничего не сообщать о нем. Я настаиваю, чтобы вы хранили тайну, папино спокойствие мне дороже всего и всех в мире.

Вздыхнув, я обещал ей, что врачебная тайна для меня свята. Потом, вспомнив смущение молодой особы при упоминании о клизме, я предложил прислать из амбулатории фельдшера в помощники. Мое предложение приняли с благодарностью.

С Иваном Ивановичем я был знаком хорошо и уже долгое время безуспешно лечил мучившие его головные боли, а также разнообразные болячки его пятерых детей. Был он человек простой и добросердечный, выбившийся из рабочей среды, но умный и получивший достаточное образование, латыш по национальности и лютеранского вероисповедания, как и ваш покорный слуга. Супруга его Анна Филипповна была большой поклонницей Толстого, и на ее книжной полке можно было найти некоторые из его замечательных романов. Дом Озолиных был небольшим: четыре комнатки, маленькая передняя и кухня. Теперь хозяин освободил больному две комнаты, переселив детей и супругу в комнатку сторожа, а сам заявил, что собирается переночевать в своем кабинете на вокзале.

Глава 2

1 ноября

Я был скромнен и не сказал никому ни слова про гостей начальника станции, но уже на следующее утро я не мог не заметить, что в Астапово стало многолюднее нежели обычно. По пустынным обычно улицам теперь бродили зеваки, празднующиеся личности, а также молодые и не очень люди с остро заточенными карандашами в нагрудных карманах.

Иван Иванович показал мне газету «Русское слово», где на третьей полосе был напечатан краткий репортаж собственного тульского корреспондента: «Тула, 29, X (срочная). Возвратившись из Ясной Поляны, сообщаю подробности отъезда Льва Николаевича. Лев Николаевич уехал вчера, в 5 часов утра, когда еще было темно. Лев Николаевич пришел в кучерскую и приказал заложить лошадей. Кучер Адриан исполнил приказание. Когда лошади были готовы, Лев Николаевич вместе с доктором Маковицким, взяв необходимые вещи, уложенные еще ночью, отправился на станцию Щекино. Впереди ехал почтарь Филька, освещая путь факелом. На ст. Щекино Лев Николаевич взял билет до одной из станций Московско-Курской железной дороги и уехал с первым проходившим поездом.

Когда утром в Ясной Поляне стало известно о внезапном отъезде Льва Николаевича, там поднялось страшное смятение. Отчаяние супруги Льва Николаевича, Софьи Андреевны, не поддается описанию».

Не могу даже описать, насколько заинтриговала меня сия необычная заметка! Некогда в бытность мою в столице мечтал я не о карьере земского врача. Тогда, лет десять назад, я грезил о мировой известности, о новых методах лечения и при каждом удобном случае выписывал из-за границы соответствующую литературу – Вейнингера, Юнга... «Толкование сновидений», «Психопатология повседневной жизни» – эти труды Зигмунда Фрейда стали моими настольными книгами. Я посещал лекции о патологических характерах и нашего русского приват-доцент кафедры душевных болезней Московского университета и почерпнул для себя много полезного¹. Потом, по глупости, участвовал в студенческих волнениях и был выслан из столицы... Довольно скоро понял я, что для России психология, да и вообще любое копание внутри человеческой личности, – не самая важная надобность. Куда важнее лечение туберкулеза, сифилиса, дифтерии... Борьба с элементарной антисанитарией... Но вот теперь у меня был пациент, которому я мало чем мог помочь, но чьи страдания обязан был облегчить, однако более всего в этом пациенте меня интересовала именно душа, а не тело.

Фельдшер из амбулатории наведывался в дом Озолина раз в день на пару часов для помощи в необходимых больному гигиенических процедурах. Это позволяло пощадить девичью стыдливость его дочери, которая на деле доказывала свою преданность отцу, почти неотлучно дежуря у его постели. Однако и этой самоотверженной особе необходим был отдых. Тогда ее сменял Душан Петрович. Я скоро заметил, что в нагрудном кармане он носил листки плотной бумаги, на которых тут же записывал любое изречение своего кумира, стоило тому лишь заговорить. Однако любому человеку необходимы сон и еда, а потому в некоторые моменты я оставался с больным наедине.

Душевное состояние Льва Николаевича нельзя было назвать мирным, но ведь и некоторые святые, например католичка Екатерина Сиенская, заканчивали жизнь в страшных терзаниях духа. В силу этого душевного разлада велика была в нем потребность говорить, дове-

¹ «Патологические характеры». П.Б. Ганнушкин читал цикл лекций в 1903 году.

рять какому-то другому человеческому существу свои мысли, воспоминания и сомнения. Из-за трагического и несправедливого отлучения Лев Николаевич был лишен возможности беседовать с духовником, близкие же явно привыкли смотреть на него снизу вверх и сразу соглашались со всеми его словами, так что беседы не получались.

Ситуация казалась мне скандальной. Я никогда не мог отнести себя к интеллектуальной элите общества, но все же и в молодости, и сейчас я всегда старался выписывать газеты и книжные новинки и поэтому мог считать себя в курсе философских веяний своего времени. Имя графа Толстого значило для меня многое. Далеко не все в его воззрениях я понимал и тем более – принимал, но потрясенный колоссальностью его мысли я привык считать, что столь могучего интеллектуала, философа и почти пророка должна окружать гармоничная светлая атмосфера. И теперь я, скромный провинциал, никак не мог понять, почему старый человек, граф, Рюрикович, состоятельный помещик, внезапно бежал из собственного дома? Почему он теперь умирает в чужом доме, не извещая о своем состоянии ни жену, ни родных? Понимая, что на то должны быть свои причины, я принялся наблюдать за происходящим с любопытством, далеко выходящим за рамки медицины, порой задавал вопросы, стараясь запоминать, а особенно важные вещи – записывать. К счастью, записи мои не привлекали ничье внимание, все принимали их за обычную историю болезни.

К утру температура у больного, как я и предсказывал, снизилась до нормальной, и его дочь и личный врач вздохнули с облегчением. Они даже поговаривали насчет того, чтобы отправиться дальше, но я, понимая, что это лишь временное улучшение, категорически возразил. В станционной аптеке и в нашей амбулатории не было достаточного количества медикаментов для лечения столь серьезного недуга, и, посоветовавшись с Иванов Ивановичем, мы отправили человека в Москву – за кислородом и лекарствами. Александра Львовна снабдила его запиской к хорошему знакомому Толстых – доктору Беркенгейму.

Но несмотря на неоптимистичный прогноз, когда жар спал, Лев Николаевич почувствовал себя вполне хорошо и его мысли приобрели ясность. Заполняя карту, я затруднился с указанием должности пациента. Лев Николаевич кротко улыбнулся и сказал:

– Какая разница? Напишите просто «пассажир поезда № 12». Все мы пассажиры в этой жизни, – добавил он. – Но один только входит в свой поезд, а другой, как я, схожу.

Под предлогом, что мне необходимо восстановить историю болезни, я выспросил Александру Львовну об обстоятельствах отъезда ее отца из имения. По ее словам Лев Николаевич уехал из Ясной Поляны рано утром 28-го числа, отправившись в Оптиную пустынь – знаменитый монастырь.

– Папа поначалу уехал без меня... был в Оптиной пустыни, в монастыре... Недолго. Вы ведь... знаете, наверное... – Она замялась, не зная, как я отреагирую.

Конечно, я знал об отлучении графа Толстого от церкви и об Указе Святейшего Синода о том, что если Лев Николаевич умрет, то молиться о нем нельзя. «Воспретить совершение поминовения, панихид, заупокойных литургий по графе Льве Толстом в случае его смерти без покаяния», – значилось в том документе. Я сказал Александре Львовне, что я в курсе всех этих событий, но что сам принадлежу к лютеранской церкви и потому не являюсь «верным чадом Православных Греко-Российских Церквей», коим адресовалось то послание. Девушка продолжила рассказ:

– Из Оптиной папа отправился к тете в Шамордино – там женский монастырь, тетя там живет. И я туда к нему приехала...

– Саша сказала, что нас догонит, и мы поехали, – заговорил вдруг Лев Николаевич. – Сначала вдвоем с Душаном... В Козельске Саша догнала, сели, поехали. Ехали хорошо, – он заулыбался, потом прослезился, – но в 5-м часу стало знобить, потом 40 градусов температуры...

– Даст Бог, все обойдется! – Я покривил душой. – Но крайне неосторожно было вам по промозглой и сырой погоде ехать в такую даль...

– Наделал я всем хлопот, – вздохнул Лев Николаевич. – Начальник этой станции такой милый человек! – ласково произнес он, а по щекам его заструились слезы. – Комнаты дал, выделил человека, чтобы меня под руку поддерживал, лампу впереди держал, боялся, что коридор темный... Чудесный человек!

– Вы плачете? – недоуменно спросил я. – Что-то болит? Вам плохо?

– Ах, от радости, или от болезни, или от того и другого вместе я стал слаб на слезы, – пояснил Лев Николаевич, – на слезы умиления, радости... Впрочем, меня и в детстве прозывали «Лева-рева», «Тонкокожий»...

Дочь заботливо обтерла ему щеки платком.

– Отдыхайте, – попросил я. – Я вижу, дочка Ваша может Вам почитать что-то. – Я указал на чемодан с книгами. – У вас много всего с собой, да и Иван Иванович человек книжный.

– Это «Круг чтения» – мысли разных писателей, мною заботливо собранные, – объяснил Толстой. – И мои дневники... Там есть и о том, почему я ушел. – Он вдруг заволновался. – Я же вижу, вы недоумеваете.

– Почитайте, пожалуйста, мне очень интересно! – подтвердил я.

Александра Львовна взяла пухлую тетрадь, пролистнув несколько страниц, нашла нужную:

– Еще в 1897 году папа писал: «Как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения...» – Она оторвалась от чтения и взглянула на меня. – То же самое папа писал и совсем недавно: «Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни». Вот вам и объяснение!

Она посмотрела на меня очень внимательно, несколько округлив глаза, словно маленькая девочка, которая дала простой ответ на какой-то очень сложный вопрос. Впрочем, возможно, так оно и было.

– Эта тетрадь?... – начал я.

– Папин дневник, – с готовностью объяснила Александра Львовна. – Он предназначен для печати.

– То есть его можно читать? Это не личные записи? – Передо мной открывалась интереснейшая перспектива.

– Нет. Ничего скрытного тут нет. Вот, слушайте, – сказала она. – Папа объяснил тут все. – И она снова принялась за чтение. – «Жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, науки, искусства, – все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это – одно баловство; что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это – сама жизнь, и что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его». – Она сделала паузу, взглянув на отца, который слышал ее с явным удовольствием. – «Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, – того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно так выразиться, был следующий. Вся-

кий человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по божьи, а чтобы жить по божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, передаваемого ему пастырями и преданиями, живущими в народе. Смысл этот мне ясен и близок моему сердцу».

Александра Львовна закончила читать и посмотрела на отца с любовью и, как мне показалось, поклонением. Он дал ей знак, что она может положить книгу и заняться своими делами. Он молча села на вторую кровать, стоявшую в этой комнате.

– Конечно, пришел я к этой истине далеко не сразу. Долгие годы блуждал я впотьмах... – проговорил старик. Его дыхание было немного хриплым, но ровным. Я послушал пульс – около восьмидесяти. Состояние больного в тот момент не внушило мне опасений, и я позволил ему говорить, тем более что беседа была мне крайне любопытна.

– Вспоминая о своей жизни, – задумчиво произнес он, – а тем более размышляя о возможности ее описать, я все время думаю о том, какая это страшная трудность избежать Харибды – самовосхваления и Сциллы – цинической откровенности о всей мерзости своей жизни. Написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость – совсем правдиво, правдивее даже, чем Руссо, – это будет соблазнительная книга или статья. Люди скажут: вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй, так уж нам-то, простым людям, и Бог велел. – Он невесело усмехнулся своими мыслям. – Серьезно, когда я стал хорошенько вспоминать всю свою жизнь и увидел всю глупость (именно глупость) и мерзость ее, я подумал: что же другие люди, если я, хваленный многими, такая глупая гадина? А между тем ведь это еще объясняется тем, что я хитрее других. Это все я вам говорю не для красоты слога, а совсем искренно. Я все это пережил! – Его кустистые брови хмуро сошлись на переносице.

Я не поверил ему. Да и как можно было в это верить? Ведь рядом со мной был сам Толстой, служивший идеалом человека для целого поколения! Я сказал ему об этом, добавив, что сам безмерно уважаю его как писателя и философа. Толстой ответил, уже более мягко:

– Конечно, не вся моя жизнь была так ужасно дурна, – таким был только двадцатилетний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями... – покаянно проговорил он.

Разговор меня крайне заинтересовал, и я просил больного, коли есть у него на то силы и желание, продолжить говорить и рассказать мне о жизни своей.

– Но что же Вы хотите обо мне узнать, что еще не написали газетчики?

– О чем Вам, Лев Николаевич, говорить приятно...

– Приятно... Приятно – это не дело, а начинать надо сначала. Ну а началом каждого человека является семья его, его род. Сашенька, отдохнула ли ты уже? Почитай...

– «Графы Толстые – старинный дворянский род, происходящий, по сказаниям родословцев, от мужа честна Индриса, выехавшего «из немец, из Цесарские земли» в Чернигов где-то в середине четырнадцатого столетия...» – послушно начала девушка, выбрав тетрадь из чемодана.

– А можно мне самому? – поинтересовался я.

– Читать? – Александра Львовна снова округлила глаза, словно я покусился на нечто заветное.

– Нет, я ни в коем случае не претендую на то, чтобы вынести эти бесценные дневники из комнаты, – тут же поправился я. – Но мне бы было удобнее – прочесть самому. Да и вы могли бы немного вздремнуть. Ведь ночью вы мало спали, не так ли?

Александра Львовна посмотрела на отца, ожидая его решения. Толстой дал знак, разрешая мне прикоснуться к его драгоценным записям. Я принялся за чтение.

— Один из потомков Индриса в конце века семнадцатого служил при дворе стольником и был одним из главных зачинщиков стрелецкого бунта, но затем резко переменял фронт и перешел на сторону царя Петра, но доверия его не заслужил, хоть и стал при дворе человеком полезным. Рассказывают, что на веселых пирах Петр любил сдергивать большой парик с головы Петра Толстого и, ударяя по плечи, приговаривать: «Головушка, головешка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была». Этот Толстой знаменит своим дневником заграничного путешествия. Сие есть характерный образчик тех впечатлений, какие выносили русские люди петровского времени из своего знакомства с Западной Европой...

Потом Толстые оказались в опале, но Елизавета Петровна вернула им графское достоинство. Были среди череды графов Толстых люди разные: деловитые, жестокие, сентиментальные, авантюристичные... Одни скрупулезно честные, другие — вороватые... Одни копили состояние, другие безбожно его проматывали...

Я читал разнообразные описания судеб и характеров и, как врач, понимал, что в каждой семье каждого поколения Толстых имелся свой душевнобольной. Кроме того, в этом роду было довольно много членов с психопатическим характером или с шизоидными чертами психики: замкнутые, эксцентричные, вспыльчивые, взбалмошные, странные чудачки, авантюристы, юродствующие и склонные к крайнему религиозному мистицизму, иногда сочетаемому с ханжеством; люди чрезмерной чувствительности ко всякой беде или, наоборот — крайние эгоисты. Именно таким был двоюродный дядя Льва Николаевича, известный под именем «Американца».

Примечательным типом был и дед писателя по отцу, Илья Андреевич — очень ограниченный и веселый человек, но его веселость носила патологический характер. В имении его в Белевском уезде царил вечный праздник: непрерывные пиршества, балы, торжественные обеды, театры, катания, кутежи... Кроме того, им владела страсть к картам, причем играл он на крупные суммы, то и дело влезал во всевозможные спекуляции или денежные аферы. Все это довело его до полного разорения. Если к этому бестолковому и бессмысленному мотовству прибавить еще то, что он совершенно бессмысленно отдавал деньги всякому, кто просил, то неудивительно, что этот ненормальный человек дошел до того, что богатое имение жены было так запутано в долгах и разорено, что его семье нечем было жить, и он принужден был искать себе место на службе государственной, что при его связях ему было легко сделать, и он стал казанским губернатором. Предполагают, что он окончил самоубийством.

Бабушка Льва Николаевича также была особа не совсем нормальная. Она была очень неуравновешенная и взбалмошная женщина, со всякими причудами и самодурствами, мучила своих приближенных слуг, а также родных. Страдала галлюцинациями: однажды она велела отворить дверь в соседнюю комнату, так как ей казалось, что там находится ее, тогда уже покойный, сын, и она даже разговаривала с призраком.

Из детей этой четы две дочери были крайне умственно ограничены, привержены мистике и религиозны до ханжества, они жили в монастырях, там считались чуть ли не юродивыми и отличались ужасной неряшливостью, доходящей до патологии.

Толстой слушал мое чтение внимательно и порой делал замечания.

— По материнской линии род мой восходит к князю Михаилу Черниговскому — Рюриковичу, — сообщил он. — Один из предков моих князь Волконский участвовал в Семилетней войне в чине генерал-майора. Во время похода жене его приснилось, что какой-то голос повелевает ей, написав небольшую икону: с одной стороны Живоносного Источника, а с другой Николая Чудотворца, послать ее мужу. Она для того избрала дощечку, приказала написать на ней икону и через фельдмаршала Апраксина доставила князю Сергею. В тот же день курьер

привез ему повеление – идти для поиска неприятеля. Сергей Федорович, призвав Бога на помощь, возложил на себя полученный образ. В кавалерийском деле неприятельская пуля попала ему в грудь, но ударила в самую икону и не причинила ему вреда; таким образом икона эта спасла ему жизнь. Это не сказка: образ этот хранился после у младшего сына его, князя Николая Сергеевича. Именно от Волконских досталась нам Ясная Поляна около ста лет назад. Нет, не будет сотни – меньше!

Лев Николаевич замолчал, молчал и я, предполагая, что он, возможно, устал и хочет уснуть. Но граф заговорил снова:

– А вот матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета; так что, как реальное физическое существо, – я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знал о ней, – все прекрасно, и я думаю не оттого только, что все говорившие мне про мою мать старались говорить о ней только хорошее, но потому что действительно в ней было очень много этого хорошего.

Мать моя была нехороша собою, но очень хорошо образованна для своего времени. Она знала, кроме русского, на котором она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, – четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, – и должна была быть чутка к художеству; она хорошо играла на фортепиано, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки. Самое же дорогое качество было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, – рассказывала мне ее горничная, – но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их. – Он кашлянул, и я дал ему мятной воды, пообещав себе прервать речь больного, если кашель повторится. – Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца, – продолжил Толстой. – Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным состоянием. Думаю, что мать любила моего отца больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящей же ее любовью, как я понимаю, была страстная дружба с одной французской мадемуазель, про которую я слышал от тетюшек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. Отец разделял общее тогда свойство помещиков – пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата: Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята, и они же – охотники...

Я не мог не отметить про себя эти два замечания о личных переживаниях родителей графа Толстого, но вопросов задавать не стал, понимая, что могу неправильно истолковать его мысль. Лев Николаевич продолжил говорить негромким, но довольно бодрым голосом:

– Отец мой много читал и собрал большую библиотеку. Он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени. Он никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда надевал сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. – Тон его рассказа изменился, сделался мечтательным. Так бывает, когда люди вспоминают что-то приятное. – Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли большого соструненного, со связанными ногами серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться, злобно грызя струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «пушай!». Вилы

подняли, волк поднялся, постоял секунд десять, но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел! – Толстой обрадованно улыбнулся. – Помню, отец что-то выговаривал и, сердито махая руками, возвращался домой.

– Дурно, без нужды, для забавы убивать животных! – встала Александра Львовна, сидевшая на соседней кровати.

– Дурно... Дурно... – согласился Лев Николаевич, снова опечалившись. – Дурно отнимать жизнь. И это гадко, что я когда-то любил охоту страстно... – Он внезапно расстроился и заплакал.

– Вы об отце рассказывали, Лев Николаевич, – напомнил я, не только желая продолжения, но и в попытке отвлечь его от мрачных мыслей. – Вы говорили о приятных воспоминаниях детства...

Плакать Лев Николаевич перестал.

– Да, да, было... Самые приятные мои воспоминания о нем – это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладывания пасьянса, – принялся вспоминать он. – Помню раз, в середине пасьянса и чтения, отец вдруг остановил читающую тетюшку и указал ей на зеркало. Мы все посмотрели туда же и увидели официанта Тихона, который, зная, что отец в гостиной, на цыпочках тайком отправился к нему в кабинет брать его табак из большой, складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец заметил его в зеркало, но лишь рассмеялся. Тогда, восхищаясь добротой отца я с особенной нежностью поцеловал его белую, жилистую руку. – Лев Николаевич снова помрачнел. – Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер. Мне было лет десять, когда это случилось... Он уехал по делам в Тулу и, идя по улице, вдруг зашатался, упал и умер ударом; другие предполагают, что его отравил камердинер, так как деньги у него пропали, а именные билеты принесла уже в Москве к Толстым какая-то таинственная нищая. Смерть эта в первый раз вызвала во мне чувство религиозного ужаса перед вопросами жизни и смерти, и я долго не мог поверить, что отца уже нет.

– Я правильно понимаю, что Вы очень рано испытали страх смерти? – решился спросить я, по опыту зная, сколь важен этот симптом для психиатров.

– Да, смерть отца напугала меня, – согласился граф Толстой. – Тем более, что почти сразу вслед за ним от горя умерла бабушка. Всем нам сшили новые курточки черного казине́та, обшитые белыми тесемками плерез. Страшно было видеть и гробовщиков, сновавших около дома, и потом принесенный гроб с глазетовой крышкой, и строгое лицо бабушки с горбатым носом в белом чепце и белой косынкой на шее, высоко лежащей в гробу на столе, и жалко было видеть слезы тетюшек, но вместе с этим и радовали новые казинетовые курточки с плерезами и соболезнующее отношение к нам окружающих... – Он замолк. – Но к чему вы это ведете?

Он внимательно посмотрел на меня из-под густых кустистых бровей. Таким же внимательным взглядом смотрела на меня и Александра Львовна. Я понял, что соври я сейчас – и меня тотчас раскусят. Сильно смутившись, я поведал о своем увлечении психологией. Я очень боялся, чтобы пациент мой не отверг меня тут же, восприняв мой интерес как непристойное вторжение в его внутренний мир, в его жизнь, но оказалось, что Лев Николаевич наслышан и про предмет моих юношеских увлечений – психологию. Что он водил близкое знакомство с профессором Гротом Константином Яковлевичем и поддерживал связь с его Психологическим обществом.

– Я даже сам как-то раз читал там какой-то реферат... Кажется, о жизни вечной. Писал для них... но цензура запретила книгу. Хотя написана она была очень мягко, так что даже Софью Андреевну не оскорбила. Однако цензура очень много моего запрещала... А вы что же? Хотите выяснить, не сумасшедший ли я?

Я горячо заверил своего пациента, что ни в коем разе не считаю его подверженным умственному помешательству, что я с огромным уважением...

– Меня уже не раз рядили в сумасшедшие, – перебил меня Толстой. – Победоносцев назвал меня «фанатиком, заражающим своим безумием тысячи наивных людей». Редактор «Современника», в котором я начинал печататься, утверждал, что у меня «чёрт знает что в голове». Один раз, шутя, я сам составил на себя скорбный лист, помнишь, Сашенька?

– Помню, папа, – с готовностью откликнулась девушка. – Ты очень смешно написал и умно: «Лев Николаевич. Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами *Weltverbesserungswahn*. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость без обращения внимания на слушателей. Частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные – занятия несвойственными и ненужными работами: чищение и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного». – Она тихо рассмеялась. Лев Николаевич тоже заулыбался.

– Как по-вашему, по медицинскому, правильно я написал?

– Весьма дельно! – сказал я, не лукавя. Описание действительно показалось мне крайне выразительным.

– А раз даже психиатр приезжал ко мне знаменитый – доктор Ломброзо, – объявил Толстой.

Конечно, я знал это имя: Чезаре Ломброзо, умерший год назад, был знаменитым итальянским психиатром, выдвинувшим теорию о «прирожденном преступнике». Весьма спорную, кстати сказать, теорию. Читал я и его труд «Гениальность и помешательство», в котором кое-что было сказано и о моем нынешнем пациенте. Автор считал, что «философский скептицизм привел Толстого к состоянию, близкому к болезни», и относил его к больным гениям на основании его болезненной наследственности, капризов и чудачеств в юности, его эпилептических припадков с галлюцинациями и раздражительности. Читая дневники писателя, я уже нашел подтверждение одному из пунктов, а именно болезненной наследственности, и теперь страстно желал проверить все остальное. В этот момент в передней раздался скрип дверных петель, и Александра Львовна вышла, желая посмотреть, кто там.

– Ломброзо этот оказался ограниченный и малоинтересный болезненный старичок, – продолжил Толстой. – Оказывается, еще в столице сильно мною интересовался, даже поспори́л с генерал-полицмейстером: тот дал ему понять, что этот визит будет очень неприятен правительству, утверждая, что у меня в голове не совсем в порядке. Пустили его ко мне, только когда Ломброзо им объяснил, что он психиатр, а я его как пациент интересую. Тогда с радостью пустили!

– И как же вы общались с Ломброзо? – заинтересовался я.

– Отношения наши и разговоры были дружелюбные, – заверил меня Лев Николаевич. – Ломброзо, к счастью своему, очень скоро перестал убеждать меня в своих теориях. Я принял его как доброго гостя-товарища, повел купаться и предложил плавать вперегонки. Так этот Ломброзо отстал и чуть не захлебнулся, мне пришлось подержать его в воде и довести до купальни. Потом мне рассказывали, как анекдот, что по возвращении в Москву Ломброзо снова виделся с тем генерал-полицмейстером и тот спросил итальянца, как он меня нашел. «Мне кажется, – ответил Ломброзо, – что это сумасшедший, который гораздо умнее многих глупцов, обладающих властью». Вот так!

Граф Толстой поднял вверх указательный палец и довольно улыбнулся. Потом улыбка увяла, и лицо его приняло усталое выражение.

– Читаю газеты, журналы, книги и все не могу привыкнуть приписать настоящую цену тому, что там пишется, а именно: философия Ницше, драмы Ибсена и Метерлинка и наука Ломброзо и того доктора, который делает глаза. Ведь это полное убожество мысли, понимания и чутья. Хотя... Если хотите... В дневниках там есть... Хотите – почитайте... Про сумасшедших. Там есть...

Я порывлся в тетради, но нужного отрывка не нашел. Позади меня послышались осторожные шаги. Я обернулся и увидел Александру Львовну и Душана Петровича. Они прислушивались к нашему разговору, очевидно опасаясь, как бы я не утомил больного. Я поспешил заверить, что состояние пациента на данный момент опасений не внушает; поставил больному градусник – температура была нормальной. Девушка явно обрадовалась и заулыбалась, Душан Петрович облегченно вздохнул. Но очевидно, что старику нужно было обязательно отдохнуть, и я посоветовал ему немного поспать. Тот же совет я дал и Александре Львовне, но она категорически отказалась раздеваться и присела у постели больного, наблюдая за каждым его движением.

– Как вы думаете, когда можно будет нам ехать? – спросил меня Лев Николаевич, не зная, что ранним утром я уже обсуждал этот вопрос с его дочерью и личным врачом.

Я ответил, что пока об этом рано говорить, и в самом лучшем случае необходимо переждать хотя бы еще день. Он тяжело вздохнул, и видно было, что он недоволен.

– Не хочу... Не хочу, чтобы узнали, где я, Софья Андреевна если узнает – придет... – Он немного помолчал. – А вот Черткова я желал бы видеть. – И он дал дочери знак записывать. Она немедленно послушалась. Он продиктовал ей телеграмму: «Вчера захворал, пассажиры видели, ослабевши шел с поезда, очень боюсь огласки, нынче лучше, едем дальше, примите меры, известите».

Телеграмма эта была адресована не домашним, а уже упомянутому таинственному господину Черткову. Александра Львовна, слегка смущаясь, спросила отца, желает ли он, чтобы она дала знать матери, братьям и сестре в случае, если болезнь его окажется серьезной. Он очень встревожился и несколько раз очень убедительно просил ее ни в каком случае не давать знать семье о его местопребывании и болезни.

Я поинтересовался, кто такой господин Чертков?

– Если бы не было Черткова, его надо бы было выдумать. Для меня по крайней мере, для моего счастья, – с блеском в глазах ответил Толстой.

– Это ближайший папин друг, Владимир Григорьевич издает папины произведения, редактирует... Помогает во многом. Он удивительный человек! – восторженным тоном объяснила мне Александра Львовна.

– Сашенька, помнишь, я статью писал о безумии... – вспомнил Лев Николаевич. – Где она?

Александра Львовна кивнула, наклонилась к чемодану и вытащила небольшую кипу бумаги, перевязанную бечевкой.

– Вот, папа.

– Почитай... Или дай доктору, пусть он сам почитает... Вслух...

Я поблагодарил и стал читать тихим ровным голосом, надеясь убаюкать больного: «Сумасшествие – это эгоизм, или, наоборот, эгоизм, т. е. жизнь для себя одного, своей личности – есть сумасшествие. (Хочется сказать, что другого сумасшествия нет, но не знаю, правда ли.)

Человек так сотворен, что не может жить один так же, как не могут жить одни пчелы; в него вложена потребность служения другим. Если вложена, т. е. свойственна ему потребность служения, то вложена и естественная потребность быть обслуживаемым, *etre servi*.

Если человек лишится второго, т. е. потребности пользоваться услугами людей, он сумасшедший – паралич мозга, меланхолия; если он лишится первой потребности – служить другим, – он сумасшедший всех самых разнообразных сортов сумасшествия, из которых самый характерный – мания величия.

Самое большое количество сумасшедших – это сумасшедшие второго рода, те, которые лишились потребности служить другим, – сумасшедшие эгоизма, как я это и сказал сначала. Сумасшедших этого рода огромное количество; большинство людей мирских одержимо этим сумасшествием. Оно не бросается нам в глаза только потому, что сумасшествие это обще большим массам, а сумасшедшие этого рода соединяются вместе.

Они мало страдают от своего сумасшествия, потому что не встречают ему отпора, а, напротив, сочувствие. И потому все люди, одержимые этим сумасшествием, со страшным упорством держатся битых колеи, преданий внешних, светских условий. Это одно спасает их от ужасно мучительной стороны их эгоистического сумасшествия.

Как только такой человек почему бы то ни было выходит из сообщества одинаковых с собой людей, так он сейчас же делается несчастным и, очевидно, сумасшедшим. Такие сумасшедшие все составители богатств, честолюбцы гражданские и военные. Как только они вне таких же, как они, людей, – вне «*voies communes*», так они «*fou a lier*».

Когда я поглядел на лежащего на постели старика, он уже спал. Дыхание его было хоть и ровным, но хрипловатым. Александра Львовна отлучилась, чтобы послать телеграмму. Душан Петрович вышел в другую комнату. Я продолжил читать дневники, перейдя от описания родителей Льва Николаевича к подробному разбору характеров его братьев. Особенно меня заинтересовала короткая жизнь брата Дмитрия, Митеньки, как называл его Толстой. Несмотря на любовь и даже некоторое восхищение, сквозившее в этом описании, было ясно, что Дмитрий Николаевич был определенно нервно-психически больным.

В детстве приступы капризности его были до того сильны, что мать и няня «мучились» с ним. Позже, взрослым, он был очень замкнут даже с братьями; задумчив и склонен к мистическому и религиозному юродству, не обращая внимания на окружающих людей; имел странные выходки и вкусы, вследствие чего был объектом насмешек. Страдал смолотом – подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Был неряшлив и грязен: без нательной рубашки, одетый только на голое тело в пальто, и таким образом он являлся с визитом к высокопоставленным лицам. Из юродствующего и религиозного вдруг становился развратным временами, часто делался импульсивным, вспыльчивым, агрессивным, жестоким и драчливым; дурно обращался с слугой своим, бил его: «Очень глупая была мысль у опекуни-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке дан был Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю: кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении».

Со свойственным ему талантом и живостью, Толстой описывал стадии болезни своего брата, принимая его эксцентричность и экзальтацию за некую духовную чистоту: «В Казани я... начал развращаться... Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, и то, что делал, доводил до пределов своих сил. ...

Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь, и он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни. ...Особенность его первая проявилась во время первого говения. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви. Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на Страстной неделе вычитывал все

Евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство со священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи; никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас со своим серьезным лицом взял и передал.

Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор; но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое».

Умер Дмитрий Николаевич, как и большинство таких душевнобольных, от чахотки: «Женщину, проститутку, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба укоров совести, – сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после севастопольской войны. Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел умереть, не хотел верить, что он умирал. Выкупленная им проститутка, рябая, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне, по его желанию, принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее».

Другой брат Толстого, Сергей Николаевич, отличался также эксцентричностью и патологическими странностями психики. Он был эгоистичный и «несчастный человек», мало разговаривающий и чрезвычайно замкнутый; часто месяцами проводил время один взаперти. Часто на весь дом раздавалось «его оханье и аханье». Был чрезвычайно горд и невероятно гордился своим графским родом. Держал себя всегда странным образом и оригиналом. Выезжал не иначе как на четверке.

Я отложил тетрадь и задумался: налицо была наследственная отягощенность психики моего пациента – невропатическая или психопатическая. Вкупе с упоминавшимися в разговорах припадками, это давало мне некую основу, чтобы начать исследование. Но будет ли это этичным с моей стороны? Но поразмыслив немного, я отменил сомнения.

Дверные петли опять противно заскрипели. Александра Львовна вернулась крайне расстроенная, обнаружив на вокзале массу зевак и газетчиков, некоторые из которых ее узнали. Она купила несколько газет и теперь со слезами вычитывала опубликованные там заметки об уходе ее отца.

– Ну почему они не могут оставить папу в покое?! – восклицала молодая женщина. Душан Петрович как мог ее утешал.

«Старый лев ушел умирать в одиночестве. Орел улетел от нас так высоко, что где нам следить за полетом его?!» – писало «Русское слово». – «Софья Андреевна одна. У нее нет ее ребенка, ее старца-ребенка, ее титана-ребенка, о котором надо думать, каждую минуту заботиться: тепло ли ему, сыт ли он, здоров ли он? Некому больше отдавать по капельке всю свою жизнь». «Не ищите его! – убеждали «Одесские новости», обращаясь к семье. – Он не ваш – он всех!» «Разумеется, его новое местопребывание очень скоро будет открыто», – хладнокровно заявляла «Петербургская газета».

– Нас найдут... – мрачно подытожила Александра Львовна. – Этого не избежать.

– Может быть, Вам лучше все же телеграфировать домой? – спросил я.

– Ни в коем случае! Без папиного разрешения я ничего предпринимать не стану, – твердо отказалась она, невольно повысив голос.

Больной пошевелился и открыл глаза. Посмотрев на дочь, Лев Николаевич участливо спросил:

– Что, Саша?

– Да что же, нехорошо? – В глазах ее были слезы. – Как тебе, папа?

– Не унывай, чего же лучше: ведь мы вместе, – улыбнулся ей граф.

Александра Львовна улыбнулась через силу. Я приложил палец к губам и посоветовал не беспокоить отца, в надежде, что он снова уснет. Но, увы, этого не произошло. Я посмотрел на часы: отдыхал он около часа. Сознание больного оставалось ясным, и он хорошо помнил наш предыдущий разговор.

– Не наскучил ли я вам еще своими воспоминаниями? – спросил Лев Николаевич, обращаясь ко мне и указывая на тетрадь у меня в руках.

– Это я боюсь, что наскучиваю Вам, – поспешил заверить его я. – Мне же Ваши мысли интересны чрезвычайно.

– Ну тогда почитайте мне вслух, – попросил он. – Мои мысли в дневниках.

Я повиновался: «Вот первые мои воспоминания: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. – Им кажется, что это нужно, чтоб я был связан, тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдираю руку, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны».

– Да, да... помню... – нахмурился старый граф. – Несвобода... И еще впечатление – это было посещение какого-то... не знаю... двоюродного брата матери... гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться.

Он молчал. Молчал и я. Потом Толстой вновь заговорил, серьезно и задумчиво:

– Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти более ни одного впечатления, кроме этой малости. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступаю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил и блаженно жил! Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня – только шаг. От новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. От зародыша до новорожденного – пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.

Мысли о смерти расстроили его, и на глазах у него выступили слезы. Тут же подошел Душан Петрович и принялся очень тихо говорить пациенту что-то мягкое, утешительное. Он

выговаривал слова с сильным акцентом, и я понимал далеко не все, но, по всей видимости, Лев Николаевич разбирал его речь много лучше.

– Дорогой друг Душан... – шептал он в ответ.

Потом больной попросил пить, и Маковицкий немедленно подал ему стакан с водой. Напившись, он сказал, что хочет написать детям – Тане и Сереже, и Александра Львовна села на маленький столик с зеленой лампой – стенографировать. Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступивших к горлу слез, и минутами мы едва могли расслышать его тихий голос:

– Милые мои дети, Таня и Сережа! Надеюсь, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамы было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние сорок лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю – ошибаюсь или нет – его важность для всех людей и для вас в том числе... Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках; а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти, говорю об этом. Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой.

– Ты им передай это после моей смерти, – сказал он Александре Львовне и опять заплакал.

Девушка переписала письмо набело и подала отцу для подписи. После он говорил еще и еще, но какой бы предмет граф ни избирал в качестве темы, снова и снова мысли его возвращались к предмету смерти, небытия.

– Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к Богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал, редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья, как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы «муравейные братья», и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу, но это было редко, и мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это... вероятно, это какие-нибудь рассказы о моравских братьях... значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга. – Он смолк на несколько минут, увлеченный воспоминаниями, взгляд его туманился, выражение лица было спокойным и ясным. – Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого. Теперь уж многих из нас, бывших тогда детьми, нет в живых. Митенька... Николай... – Старик снова заплакал, у него началась икота, и мне пришлось дать ему сахарной воды.

Приступ быстро прошел, он все пытался снова заговорить, а я принялся его отговаривать, опасаясь, что воспоминания еще больше расстроят больного. Но старик был упрям. Да и было заметно, что если его мысль коснулась какого-то предмета, то он не сумеет отвлечься

из страха утомиться или расстроиться, а будет напряженно думать. Решив, что беседой я сумею направить его мысли в безопасное русло, я дал ему возможность выговориться.

– Воспоминания более определенные начинаются у меня с того времени, как меня перевели вниз к старшим мальчикам. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне; старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками; но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело?

Я растерялся. Потом пробормотал:

– Работа врача – противодействовать смерти. Что же мы станем делать, коли наши пациенты станут работать на Костлявую?

Не знаю, расслышал ли он меня.

– Высшее назначение наше – готовиться к смерти, – процитировал Лев Толстой слова Марка Аврелия. Потом добавил: – Постоянно готовишься умирать. Учишься получше умирать...

Я не знал, что ответить. С одной стороны у восьмидесятилетнего больного старика – вполне уместны, но с другой стороны, в его словах и мыслях чувствовался патологический страх смерти, который немецкий психиатр Эмиль Крепелин считал характерным симптомом некоторых заболеваний, в частности аффективной эпилепсии. Пока еще у меня было недостаточно данных для такого диагноза, хотя доктор Маковицкий и Александра Толстая упоминали мне бывшие с ним припадки.

Я побоялся более беседовать с больным, смущенный глубиной его философской мысли, которую, как я понимал, мне было не дано постигнуть, и не желая еще больше его расстраивать. Оставив больного на попечение доктора Маковицкого, я отлучился домой, планируя после обязательно зайти в амбулаторию. Дойти до своей квартиры без приключений мне не удалось. Вест о том, что отлученный от церкви еретик граф Толстой лежит больной где-то в Астапово, облетела округу, и теперь многие, выдавая себя за знатоков, травили байки и делились сплетнями.

– А есть примерно в двенадцати верстах от города Глухова монастырь... – с таинственным видом вещал полноватый усатый типчик, – «Глинская пустынь» называется. А на стене там масляными красками изрядная картина нарисована! Злободневная! Картина называется «Воинствующая церковь»; среди моря стоит высокая скала, и на ней церковь и праведники; внизу мятущиеся грешные души; по правую сторону горят в неугасимом огне враги церкви, уже отошедшие в иной мир. Там можно найти Ирода Агриппу, Нерона, Траяна и других мучителей, еретиков и сектантов. А по левую – наши современники в сюртуках, блузах и поддевах мечут камни и палят из ружей в ту скалу, на вершине которой стоит храм. Под каждым действующим лицом имеется номер, а сбоку – пояснение; бегуны, молокане, духовоборы, скопцы, хлысты, нетовцы, переkreщенцы, пашковцы, штундисты...

На видном месте картины изображен старик в блузе и шляпе, над ним стоит № 34, а сбоку комментарий: «искоренитель религии и брачных союзов». Прежде на шляпе у «искоренителя» имелась надпись «Лев Толстой», теперь ее стерли, вблизи старика – фигура богато одетого человека, подающего ему увесистый булыжник. По объяснению монахов, человек, подающий камень, – князь Хилков.

Возле злободневной картины то и дело толпятся богомольцы, а кто-нибудь из братии с превеликим пафосом дает им соответствующие разъяснения: «Еретик он и богоненавистник! И куда смотрят! Рази так нужно? В пушку бы его зарядил – и бах! Лети к нехристям, за границу, графиска куций!..»

И проповедь имеет успех. Говорят, даже приходил к игумену крестьянин-мясник и просил благословения на великий подвиг: «Подойду я к старику тому, разрушителю браков, – рассказывал крестьянин свой план, – как будто за советом, а там выхвачу нож из-за голенища, и кончено!..» «Ревность твоя угодна Богу, – ответил игумен, – а благословения не дам, потому все-таки придется отвечать...»

– Вот оно как! – заключил пузатый господин. Окружающая его небольшая толпа внимала.

Я поспешил миновать эту крайне неприятную компанию и направился к дому. Переодевшись и умывшись, я велел подавать обед, а сам выбрал с книжной полки томик, дабы освежить в памяти одно из сочинений великого писателя. Это были «Записки сумасшедшего». Описание детских впечатлений героя явно было автобиографическим, заимствованным из собственных младенческих лет. Отрывок этот я нашел сразу: «Я был нервным, восприимчивым мальчиком. Помню, раз я ложился спать, – мне было пять или шесть лет. Няня, высокая, худая, раздела меня и посадила в кроватку. Я прыгнул в кровать, все держа ее за руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал: «Я люблю няню; няня любит меня и Митеньку; а я люблю Митеньку; а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас; а я люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню. А няня любит маму, и меня, и папу. И все любят, и всем хорошо».

Здесь невольно вспомнил я исследования доктора Фрейда и то большое значение, которое он придавал любви в детстве. Любви не обязательно сексуальной, а любви вообще в самом лучшем и благородном значении этого слова. Итак: маленький мальчик весело засыпает, весь преисполненный мыслями о любви...

«И вдруг я слышу, вбегает эконома и с сердцем кричит что-то о сахарнице, и няня с сердцем говорит, что она не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяла мне не легчает. Я вспоминаю, как при мне раз били мальчика, как он кричал, и какое страшное лицо было у Фоки, когда он его бил. А, не будешь, не будешь! – приговаривал он и все бил. Мальчик сказал: «Не буду». А тот приговаривал: «Не будешь», – и все бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать, и долго никто не мог меня успокоить».

Я принялся разбирать текст с медицинской точки зрения. С мыслями о любви мальчик засыпал – а это момент особой эмоциональной восприимчивости! И вдруг он был испуган. Круг ассоциаций, вращавшийся около представлений любви, был нарушен и сменился ассоциациями ненавистничества. И мальчик не справился с этой переменой, его захватили в свою власть эти представления злобы, и его протест мог выразиться только в рыданиях, в нервном припадке. Это весьма напоминало сегодняшней ход мыслей больного старика, который от радостных воспоминаний о любви неизменно переходил к мрачным мыслям о смерти и одиночестве.

Я стал читать дальше: «Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их.

– За что они его били? Он простил, да за что они били? Больно было? Тетя, больно Ему было?..

– Ну, будет, я пойду чай пить.

– А может быть, это неправда, его не били?»

Очевидно, что рассказ этот явился психической травмой для нервного мальчика, и он оборонялся от него как мог, пытался рассматривать его, как неправду. Однако это не удалось, тетя не подтвердила его мучительного желания, и аффект, по выражению доктора Фрейда, «конвертировался» в область телесных иннерваций.

– «Ну, будет, – говорит тетя.

– Нет, нет, не уходи...

И на меня опять нашло. Я рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену».

Снова припадок!

Я поставил книгу на полку и взял другую, это была повесть «Детство». Здесь тоже содержались свидетельства того, что припадки и сумеречные состояния были знакомы Льву Николаевичу еще в раннем детстве. Вот главный герой повести смотрит на свою мать, лежащую в гробу. Я перелистнул страницы, отыскивая нужный параграф: «...Я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец, воображение устало, оно перестало обманывать меня; *сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся*. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно, знаю только то, что *на время я потерял сознание своего существования...*»

Тут кое-что не состыковывалось: только что Лев Николаевич поведал мне, что сам он матери не помнит вовсе, а значит, точно так, как описано, быть не могло. Однако приведенные им в повести описания уж слишком точны в медицинском смысле, чтобы быть придуманными, они явно взяты из личных впечатлений.

Однако этим судорожным припадкам Толстой был подвержен не только в детские, но и в отроческие годы. Я нашел описание судорожного припадка после пережитого им целого ряда конфликтов с гувернером и с отцом: «Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колени, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту...» И вот далее: «...«Он мой тиран... мучитель... умру... Никто меня не любит, – едва мог проговорить я, и со мной *сделались конвульсии*. – Это место я отметил особо. – Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул. Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье».

В этой же повести, «Отрочество», обнаружился и другой отрывок, не менее показательный: «Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет, то есть находящиеся в переходном возрасте, бывают особенно склонны к поджигательству и даже к убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я ясно *понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, но так, из любопытства, из бессознательной потребности деятельности*. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится оставаться на нем свой умственный взор, *прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя*, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, *когда мысль не обслуживает вперед каждого определения воли, а единственными друзьями остаются плотские инстинкты, я понимаю*, что ребенок по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, *раскладывает и раздувает огонь под собственным домом*, в котором спят его братья, мать, отец, которых он нежно любит. Под влиянием *этого же временного отсутствия мысли* – рассеянности почти – крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора, подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, *вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать:*

а что, если туда броситься? Или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что, ежели нажать гашетку? Или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «А ну-ка, любезный, пойдем?»

В голове у меня всплыла цитата из записанных мною лекций приват-доцента Ганнушкина, сказанная им по поводу одного из описанных им патологических характеров: «Чувство симпатии и сострадания, способность вчувствоваться в чужие переживания им недоступны. Отсутствие этих чувств в соединении с крайним эгоизмом делает их морально неполноценными и способными на действия, далеко выходящие не только за рамки приемлемого в нормальных условиях общежития, но и за границы, определяемые уголовным законом».

И я снова обратился к «Запискам сумасшедшего». Герой этой короткой повести с предельной откровенностью описывал, как лет с четырнадцати, когда проснувшись в нем половая страсть и он отдался пороку, то есть, по всей видимости, начал мастурбировать, – все это прошло, и припадки прекратились. Потом с возрастом он стал знать женщин – и был совершенно здоров. Он жил обычной жизнью, служил немного, сошелся с будущей женой и жил в деревне, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. Но спустя лет десять после свадьбы – началось снова...

Казалось, что в этом описании вкратце и в художественной форме изложена фрейдовская концепция психоневрозов. Налицо повышенная эмоция любви в детстве, не находящая себе достаточного удовлетворения, при испытывании несовместимых с нею впечатлений возникает психологический конфликт и его конверсия в область телесных иннерваций, – отсюда припадки. С появлением сексуальных желаний в подростковом возрасте возникает возможность оттока нереализованных эмоций путем мастурбации. Путем половых сношений достигается полное здоровье, вернее, ремиссия, так как затем неудовлетворенность семейной жизнью, при сохранении верности своей жене, приводит к психоневрозу, который характеризуется множественными нарушениями мышления, чувств, личностных установок и поведения. Я видел многие симптомы этого состояния: резкие перемены настроения, гневливость, сильное возбуждение или, наоборот, – депрессии и тревожные состояния, не поддающиеся произвольному контролю постоянно возникающие мысли; осознанные иррациональные страхи... Но были и другие признаки, противоречащие этому диагнозу. Симптоматика психоневроза воспринимается пациентом как чуждая его Я и даже непонятная. Здесь же этого не было вовсе. А именно чуждость Я является важным признаком, отличающим психоневротические расстройства от характерологических, в пользу которых говорила и родословная графа.

Вторым вопросом, интересовавшим меня как врача, было правильно классифицировать припадки, которым был подвержен в юности граф Толстой и которые стали повторяться с ним и в последние годы. Проанализировав детали, я пришел к выводу, что было бы ошибочно эти припадки истолковывать как чисто истерические. Это было бы верно, если бы мы не имели ряд других симптомов в истории болезни, указывающих на другую природу болезни, куда эти истерические или психогенные реакции входят компонентом.

Я продолжал читать и отметил, что писатель поведал, что каждому припадку предшествовало особое состояние: «...Мне становится больно и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня...» То есть описываемые припадки с конвульсиями следовали как разряд нарастающего аффекта. Самый аффект продолжался длительный период времени и разряжался, кроме того, еще до припадка импульсивными действиями и затемнением сознания, носящим уже характер сумеречного состояния. Все это вкупе определенно указывало на эпилептоидный характер как самого судорожного припадка, так и всех тех психических переживаний, которые предшествовали этому припадку.

Приват-доцент Ганнушкин, чьи лекции в Петербурге я исправно посещал, относил эпилептоидов к патологическим психопатическим характерам. Характерными свойствами этого типа психопатов наш российский психиатр считал: во-первых, крайнюю раздражительность, доходящую до приступов неуправляемой ярости, во-вторых, приступы расстройства настроения (с характером тоски, страха, гнева) и, в-третьих, определенно выраженные так называемые моральные дефекты (антисоциальные установки). Обычно это люди очень активные, односторонние, напряженно-деятельные, страстные, любители сильных ощущений, очень настойчивые и даже упрямые. Некоторые из этих характеристик явно соответствовали натуре графа Толстого. Его разногласия с официальной церковью вполне могли быть названы антисоциальной установкой, а расстройства настроения я наблюдал лично. Однако пока делать выводы было рано.

Далее Ганнушкин утверждал, что в состоянии аффекта эпилептоиды склонны терять самообладание. Они делаются агрессивными и импульсивными. Описания именно таких происшествий находил я в повести Толстого: ...«Мне хотелось буяннить и сделать какую-нибудь молодецкую штуку», «Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу, я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St. Jerome, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

– Что с тобой делается? – сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

– Оставь меня, – закричал я на него сквозь слезы, – никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, – прибавил я с каким-то иступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St. Jerome с решительным и бледным лицом снова подошел ко мне, и не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал обе мои руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и *violette*, которою душился St. Jerome.

Через пять минут за мной затворилась дверь чулана»...

Переночевав в наказание в темном чулане, наутра он был приведен к бабушке с тем, чтобы просить повинную, но вместо этого его аффект разразился судорожным припадком.

Я заложил в книгу нужные страницы и сделал пометки и своем блокноте.

Кухарка подала щи и пирожки с требухой. Пообедав, я немного отдохнул, затем отправился в амбулаторию, где принял несколько больных и к вечеру снова отправился к своему важному пациенту. Увы, состояние его оставалось тяжелым. С 9 часов начался озноб, и жар стал усиливаться. Он стонал, метался и жаловался на головную боль. К ночи температура была уже 39,8, водочные и уксусные компрессы сбивали ее лишь ненадолго. Больному давали чай с малиной и липовый отвар, но и это помогало мало. Лишь ближе под утро состояние его несколько стабилизировалось, и Лев Николаевич уснул. Убедившись, что непосредственной опасности нет, я оставил его на попечение доктора Маковицкого, а сам ушел домой – спать.

Глава 3

2 ноября

На другой день утром, 2-го ноября, приехал в Астапово Владимир Григорьевич Чертков и тотчас прошел ко Льву Николаевичу. Среднего роста, красивый черноволосый, этот человек привлекал к себе внимание. Несмотря на простую одежду, в духе учений Льва Толстого, было видно, что Чертков о своей внешности заботится: был в нем некий лоск, аристократичность, умение держаться, и это сразу выдавало в нем интеллигента и столичного жителя. Руки его были в черных перчатках.

– Экзема, – коротко пояснил он.

Обаятельно улыбнувшись, он подал руку Александре Львовне, поздоровался с Душаном Петровичем. И я заметил, что оба они сразу как-то притихли и принялись смотреть на приехавшего господина снизу вверх, словно ожидали от него указаний.

Лев Николаевич очень обрадовался, приподнялся на подушках и протянул вошедшему руку, Чертков осторожно поцеловал ее. Больной прослезился и тотчас же стал расспрашивать гостя о чем-то, называя его «милым другом», жаловался на слабость, спрашивал о какой-то Гале, как потом выяснилось – супруге Черткова и о его матери. Я полюбопытствовал, не скрою, и подошел, как бы для того, чтобы проверить пульс, – он оказался частым. Дыхание больного было тяжелым и хриплым.

– Болеть тяжело, – произнес Толстой, обращаясь ко мне. – Обморок гораздо лучше: ничего не чувствуешь, а потом проснулся, и все прекрасно.

Вскоре он заговорил о том, что в эту минуту, очевидно, его больше всего тревожило. С особенным оживлением он сказал новому гостю, что нужно принять все меры к тому, чтобы Софья Андреевна не приехала к нему. Чертков спокойно и убедительно сообщил, что Софья Андреевна не станет против его желания добиваться свидания с ним. Это весть явно принесла больному облегчение, и он больше не спрашивал о жене. Они заговорили о жизни в каких-то Телятниках, где в двухэтажном доме на первом этаже жили «соратники» – секретари и другая обслуга, всего человек двадцать. Они к презирали собственность и комфорт, спали на полу, на одной соломе. Все обедали за длинным столом вместе с хозяевами, но ели разные блюда, в зависимости от того, кто на какой общественной ступени находится. Простым людям – сторожам, прачкам, работникам подавали кашу с постным маслом, а другим более изысканные блюда, но на это никто не обижался.

– Роль благодетеля я не разыгрываю, так как чувствую окрестное население моим благодетелем, а не наоборот, – утверждал Чертков.

Потом Чертков принялся рассказывать про свою жену и сына, который не хотел ни учиться, ни мыться, говорил, что жить по-мужичьи можно, только полностью опростившись. Слушать его было весьма занимательно, но тут в дверь постучал мальчик: меня срочно вызвали к другому пациенту, я был вынужден покинуть квартиру Озолина и не знаю, чем закончилась их беседа.

По пути в станционном буфете мне пришлось выслушать еще один анекдот о графе Толстом, преподнесенный в качестве библейской истины. Его опубликовала какая-то захудалая газетенка, и теперь фельетон зачитывала какая-то женщина в черной, обильно украшенной шляпе. Ее окружали особы разных возрастов, принадлежащие к разным социальным сословиям. Мадам в шляпе читала, отчетливо выговаривая слова: «В августе 1896 года в Ясной Поляне произошло трагическое событие: кучер нашел в пруду мертвого ребенка. Вся семья Толстых была очень потрясена этим событием. Особенно удручена была одна

из дочерей Льва Николаевича, будучи почти убеждена, что мертвый ребенок принадлежит косой вдове, скрывавшей свою беременность.

Но вдова упорно отрицала взводимое на нее обвинение и клялась, что она невинна. Начали возникать подозрения на других.

Перед обедом Лев Николаевич отправился в парк, чтобы пройтись немного, и вернулся нескоро, причем вид у него был усталый, взволнованный. Он был на деревне, у косой вдовы. Не убеждая ее ни в чем, он только внимательно выслушал ее и сказал:

– Если это убийство дело не твоих рук, то оно и страданий тебе не принесет. Если же это сделала ты, то тебе должно быть очень тяжело теперь... так тяжело, что ничего уже более тяжелого для тебя не может быть в жизни.

– Ох, как тяжело мне теперь, будто кто камнем сердце надавил! – вскрикнула, зарыдав, вдова и чистосердечно призналась Льву Николаевичу, как она задушила своего ребенка и как бросила его в воду».

– Ох, как это трогательно! Прямо как царь Соломон! – принялись умиленно восклицать кумушки.

В амбулатории меня ждали с нетерпением, я достаточно быстро разобрался с диагнозом и назначил лечение. Зайдя к себе в кабинет, я принял несколько больных, потом меня вызвали к родильнице. Я мало чем мог помочь старику с воспалением легких, но грамотно принять роды, тщательно вымыть руки, – было вполне в моих силах. Да, пожалуй, еще мог толковать эту малость акушеркам, а молодым матерям, чтоб не поили своих младенцев сырой водой, чтоб выписанные лекарства принимали не зараз, а как я велел – по ложке в день. ...Ну и еще массу других, очевидных для образованного человека вещей мне приходилось каждый день объяснять своим пациентам, словно малым детям.

Вернулся я в дом Озолина только после обеда. Больной, прошедший тяжелую ночь, спал, а Чертков в соседней комнате разговаривал с Александрой Львовной.

– Не понимаю такой женщины, которая всю жизнь занимается убийством своего мужа, – услышал я его голос.

Фраза показалась мне, как минимум, несправедливой: насколько я знал, супруги Толстые прожили вместе почти полвека и Льву Николаевичу исполнилось уже 82 года. Те, кого «убивают», редко доживают до такого возраста. Эти слова несколько разрушили благоприятное впечатление, которое произвел на меня Чертков. Интересно, почему Лев Николаевич так боится своей супруги? Почему упорно не хочет написать ей, не желает увидеться с ней? Этот момент также представился мне немаловажным.

Я решил дождаться пробуждения Льва Николаевича, чтобы осмотреть его. Ждать пришлось недолго.

– Зачем, старинушка, побряхтываешь, зачем, старинушка, покашливаешь? Пора старинушке под холстинушку. Под холстинушку, да в могилушку, – нараспев проговорил Лев Николаевич, когда я выслушивал и выстукивал его, но Владимир Григорьевич принялся горячо уверять больного, что о смерти думать ему рано и все непременно будет хорошо.

– Мне кажется, – говорил Чертков, – что человек не имеет право вообразить себе, что наступает вот-вот плотская смерть. Она, конечно, близка каждому из нас, и помнить это хорошо; но я думаю, что не следует отдаваться предчувствиям о наступлении ее срока: это только ослабляет человека и делает его менее способным исполнять задачу, которую бог налагает на нас здесь, на земле.

– Но я... – попробовал возразить Толстой. Он выглядел смущенным и неуверенным, как и остальные в присутствии Черткова.

– Вы не можете знать, закончена ли Ваша миссия! – с убеждением проговорил Чертков. Толстой прослезился.

– Как же мне Вас доставало, милый мой Батя! – ответил он. – Вы правы: совестно и противно думать о своем поганом теле. Ах! Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, зная, что я вполне понят, как только с Вами.

Посоветовавшись с доктором Маковицким, мы решили дать больному шампанское для поддержания работы сердца. Нас обоих беспокоило его дыхание – частое и тяжелое. Я предложил телеграфировать в уездный город Данков земскому врачу Александру Петровичу Семеновскому, который несмотря на то, что был меня много моложе, обладал большим медицинским опытом. Он заслужил уважение горожан и коллег благодаря своим энциклопедическим знаниям и самоотверженным усилиям, направленным на улучшение санитарной обстановки и медицинского обслуживания в городе. О его успехах в борьбе с эпидемиями тифа, цинги, оспы, а также об участии его в Русско-японской войне я был много наслышан. Александра Петровича с уверенностью можно было назвать одним из опытейших эскулапов в нашем крае, и я весьма надеялся на его помощь.

Лев Николаевич выпил вина, и глаза его заблестели. Недочитанную тетрадь с автобиографическими записями Льва Николаевича я оставил на столе рядом с лампой под зеленым абажуром. Сейчас Лев Николаевич заметил это и просил, о чем я успел прочесть. Я ответил, и на глазах у него вновь заблестели слезы.

Он принялся вспоминать родных своих, большей частью уже умерших. Долго говорил он о своем умершем брате Дмитрие, о котором я читал в дневниках. ...Митеньке, как он называл его...

– Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно замечается только тогда, когда не любишь.

Потом он перешел к воспоминаниям о его последних годах, болезни и смерти.

– Я был особенно отвратителен в эту пору, – плакал больной. – Мне жалко было Митеньку, но мало. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали. Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер! – Несмотря на заботливые уговоры Черткова, мысли его неотступно вертелись вокруг одного предмета, смерти. – Потом... Много лет спустя тяжело заболел и умер брат Николай. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления.

– Хорошо ли Вам говорить об этом, Лев Николаевич? – спросил я, опасаясь ухудшения.

– А коли не говорить... Оно разве лучше? – со слабой усмешкой спросил Лев Николаевич. – Впрочем, возможно, Вам скучно и неприятно...

– Нет, нет, нет! – заверил я больного. – Я лишь не хочу, чтобы Вы тратили силы...

Лев Николаевич слабо махнул рукой.

– После смерти брата я почти сразу уехал за границу. Во время того же путешествия в Париж я стал свидетелем смертной казни. Встал в 7-м часу и нарочно поехал смотреть на экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь, целовал Евангелие и потом – смерть. Что за бессмыслица! Сильное и недаром прошедшее впечатление... Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться. Вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то и другое враз застучало в

ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и что дурно, – не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем.

Он возбудился, на щеках у больного появились два красных пятна, которые мне совсем не понравились.

– Были и другие казни... Помню рядового Шибунина – ни за что! Ему было двадцать четыре года. Роста он был небольшого, коренастый, с толстой красной шеей и несколько рыжеватыми волосами... Незаконнорожденный сын, по слухам, какого-то довольно значительного барина. И был он алкоголик, выпивал по два штофа водки в день. Ротный командир за пьянство посадил Шибунина в карцер. По выходе оттуда Шибунин получил приказание составить очень нужную бумагу. Для храбрости он выпил еще изрядное количество водки, потом – еще... Составленный им рапорт не понравился ротному командиру, он его смял и швырнул в писаря. Возбужденный вином, озлобленный, Шибунин наговорил своему начальнику дерзостей, на что тот приказал его высечь. «Меня розгами?» – хрипло крикнул Шибунин и дал командиру пощечину. Через пять дней было получено предписание предать Шибунина военно-полевому суду. Статья закона определяла только одно наказание за преступление, совершенное Шибуниным. Наказание это – смерть.

Вошел Чертков и стал у двери, внимательно слушая речь больного. Я тщетно уговаривал больного сменить тему и не думать о столь трагичных предметах.

– Нет! – протестовал он. – Надо! Надо думать! Я пытался способствовать если не оправданию, то хотя бы к некоторому облегчению участи подсудимого. Прокурор сказал сухую, совершенно формальную речь, всю пересыпанную статьями закона, – вспоминал Лев Николаевич. – Я тоже сказал пространную речь, суть которой сводилась к тому, что Шибунин подлежит уменьшению наказания вследствие своего очевидного идиотизма и невинности вследствие пьянства. Мне теперь стыдно за эту речь – глупая... бестолковая... И не помогла: Шибунин был приговорен к смертной казни.

Окрестное население сел и деревень с быстротою телеграфа разнесло весть о приговоренном к расстрелу «несчастненьком». Стеклись с окрестных деревень сердобольные женщины, приносили ему гостинцы... Казнь свершилась. К вечеру на могилу были накинаны восковые свечи, куски холста и медные гроши... Явился кем-то приглашенный деревенский священник служить панихиды... Назавтра повторилось тоже... Дошла весть и до местного станового пристава. Он приехал лично и приказал сровнять могилу казненного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.